

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ

РЕКИ МОЯКИ

ИЛИ

НАПИТЬСЯ НА ХАЛИВУ

Посвящается моему брату

На халиву и уисус сладок.
/народная поговорка/

--and-- Lawrence Stern

Разбуженный утренним гимном из репродуктора, я вышел на улицу с тяжелого и душного похмелья, с твердым намерением утопиться. Дело было в начале мая, когда кроны деревьев окружал еще легкая зеленая дым просыпающейся листвы, когда из подворотен подувало июлетним, знобящим отчасти ветерком, сулящим лихорадку и непокой, но грохот крышек по лестницам починающийся крышам оттуда же, из подворотен, свидетельствовал, все же, о непременно случившемся, то есть - о лете. Вышел я из гро-

моздкого псевдо-мавританского здания на углу Литейного проспекта. Божьи часы на башне Спасо-Преображенья показывали половину седьмого, над ними синело чистое океанное небо.

Но весь этот утренний полупраздничный антураж не тронул мою закоснелую душу. Хотелось ей одного — забыть Палермо, эту страну поруганных надежд и несбывшихся упований. Впрочем, как бы понимаете, Палермо тут не при чем, равно как и Рим или Вена. Виноваты, возможно, черные гибеллины. Впрочем, черт разберется в гибельном ихнем свойстве. В том, что они заполнили обзоримое пространство моей души, повинен только я сам. Только я, а никак не Зина, всего лишь несовершенное существо, однополое, даже не андрогин. О том же гласит и учение о свободе воли интеллигентного человека. Так что если она и высказывала вчерашним вечером свое, надо сказать, сугубо отрицательное мнение о моем образе жизни, а также моральном облике, то тут еще не причина. Помнится, сивозь легкий туман сигаретного дыма я

любовался на ее воодушевление, ее блестящими глазами, раскрасневшимися щеками.

- Зина! - сказал я, - верь мне, все образуется!
Дорогая! - продолжал я, - я хочу умереть у тебя на
руках в тот же день, что и ты!

Тут захохотали пьяные бородачи, а Зина заплакала.
Она швырнула в меня надкушенным бутербродом и убе-
жала. Видит Бог, у меня не было никакой физической
возможности следовать за ней. Меня положили в тем-
ном углу и долго еще с чем-то бубнили и звенели
стаканами...

Проснувшись, я тайно покинул очередное обита-
лище подвыпивших муж. И ныне стою на мосту через
Бонтанку, и напряженно вглядываюсь в прогорелые
ее волны. Масляные пятна плывут по реке. Полуза-
топленный ящик и намокший детский берет. Небреж-
ные блики плывут по ее поверхности. В них вялой иг-
ре - вся усталость забубенной моей души... Ничто
не сбылось из моих прекрасных мечтаний. Вот зас-
тегну плащ потуже, чтобы труднее было бархататься,

и — пиши, наконец, пропало!

Да и впрямь — за что осуждать бедного самоубийцу? Вот он, выброшенный на берег какого-нибудь промышленного затона в устье Невы, лежит, задрав к небу слегка приплюснутый нос. Волосы его слиплись от мазута, очки, прижатые распухшими ушами, совсем не прозрачны. Да и зачем глядеть сквозь них, ибо глаза зашлепи. На груди — привешенный к шее плакат с полусмытой, расплывшейся, но различимой надписью: "Я жил — и страдал. Я умер — и облегчился". Рядом — остов какого-нибудь протавившего, полуразобранного транспорта.

Какая жалость, что Зина не видит меня в этот час торжественного прощания с действительностью! Сколько горестно-горделивая гримаса украшает мое, доселе будничное лицо. Сколько смиренного достоинства выражает может быть, несколько грузная фигура, сохранившая, впрочем, остатки бывшей стати! Нет, Зинаида, юница, не вам судить!

Итак, над героем сомкнулись матежные волны.

Здесь же, правда, хлиноваты, кажется, для мате-
ных. Но внутренний взор, взор матерого сундичи-
ка, и в них углядит достойный почтения реkvизит.
В путь, бедный Норик!

Я приподнял, было левую ногу, чтобы поставить
ее на литой выступ перил, а потом перекинуть пра-
вую, но тут же отпрянул, зашатался и расчихался.
Пока я раздумывал, наступило уже бодрое промыш-
ленное утро, и деловая активность, в виде огром-
ном ревущей "Татры", выплынула прямо в лицо мне
огромный клуб оловянного, густого и адовитого ды-
ма. Из глаз моих потекли слезы. В их серебристом
мерцании обозначился среди тающего дыма, кажется,
знакомый мне абрис. Передо мной стоял друг моей
юности, художник, которого звали ну, скажем, Дми-
трий.

— Здорово, Пикеша! — приветствовал он меня, как
бы совсем и не удивляясь нашей ранней утренней
встрече. — Какими судьбами в этих краях? Голова,
небось, побаливает?

- Салют! - неприветливо буркнул я. - Все-то ты знаешь, с тобой играть неинтересно...

- А это ты видел? - и он торжественно высунул на плаца белую полиэтиленовую головку. - Лирса! - гордо сказал он. - Самое то, что надо! Выиг поправился!

- Да я, как-то, знаешь, не в настроении... - пробовал я отвертеться от неминуемого.

- Брось ты комплексовать, пошли к Гераклу! - быстро решил Дмитрий. В нашей вишневской компании решения принимал он, так что мне ничего другого не оставалось, нежели покорно за ним последовать.

Давным-давно, лет пятнадцать тому назад, мы облюбовали этот обширный, прохладный и уютный портик Михайловского замка. Ментура сюда забредала редко, и нам никто не мешал всласть напиваться. Отсюда, сквозь спаренные колонны, открывался чудеснейший вид на Мойку, в том месте, где соединялась она с Фонтанкой, на светлые зеленые купы Летнего сада. Портик обрамляли две массивные скульптуры стареющего известняка: одна из них была фи-

гура Геракла, опирающегося на палицу. Потому посещать это место и называлось - "пить у Геракла".

Дмитрий ловко, двумя сильными костлявыми пальцами, выдернул пробку. Образовалась легкая, характерно-радостная заминка алкогольного предвкушения.

- Ну, Никеша, над чем изволите вы работать? - улыбаясь с невыразимой добротой, спросил старый друг. Сам характер вопроса, уже давно мне не задаваемого, и какие-то необычные его интонации вдруг меня удивили. Только тут я заметил некую странную несообразность в его облике. Дмитрий сегодня выглядел поразительно молодым, именно таким, каков он был полтора десятками лет ранее. Когда я видел его в последний раз, где-то с полгода назад, это был старый, с трясущимися руками, со вмятиной в черепе, абсолютно спившийся человек. А теперь передо мной стоял молодой, милый Дима! Я пристально поглядел на него сквозь очки, но говорить на эту тему было мне неудобно. Он, кажется, заметил мой удивленный взгляд, но не сказал ни

слова.

Когда-то Дима учился в Высшем художественном училище, стеклянный купол которого виднелся отсюда из полутыны портика. Он был нашей гордостью, самый талантливый студент курса. Потом неожиданно бросил учебу, мотивируя решение тем, что ему здесь все ясно, а вокзал, построенный ректором заведения — бездарная ерунда. Стал сотрудничать иллюстратором в литературных журналах нашего города. Дебют его был интересен, Диму заметили. Не счесть тракторов на полях, башенных кранов и чаек над ними, исполненных твердым темным карандашом, и напечатанных в соответствующих номерах разных журналов. Но что-то не в радость пришелся Диме его успех. С годами все с большей скукой глядел он на Божий мир. Остальное — к чему досказывать?

— Понимаешь, Никеша, — говорил удивительно молодой Дима, — я твердо верю в твою звезду. Хотя человек ты нетвердый и закомплексованный, нитка Судьбы вьется в твоих непонятных глазах. Запомни

мои слова, я ведь не люблю ложного пафоса. Будь требовательней к себе, не поддавайся на провокацию... Как твоя мама? Все лилит тебя?

- Да нет, ниче она в отъезде. У брата живет в Барнауле. Есть только Зина, Зизи, так сказать. Души заманчивый финал...

- Финал? Это плохо. Тоже, стало быть, ты неудача? Ну ничего, провесься. Выпей, старик, и пошли все на...

Вино несколько прочистило мои мозги. С необычным силой реальности я вдруг увидел пыльные гранитные ступени, косо разрезанные темной тенью от Гераклова постамента, ровные швы между зеленых от старости, исходящих прокладок мраморных плит, в глубине портика мусорным каменный пол, по дальним углам усыпанный прелым прошлогодним листом. Когда я отвлекся от своего глубокого созерцания, друга рядом со мной уже не было...

Я потолкался глазами между колонн, оглядел предлежащую панораму. Дима исчез. - Ах, Дима,

что и это он слинял, не продашь? — с горечью думал я. А ведь он, наверное, никогда, за всю историю нашей дружбы не был так сердечен и мил, как сегодня. И где он достал бутылку в такую рань?

Меж тем вдоль чугунной ограды Мойки со стороны замка уже располагались любители — рыбаки. Они доставали длинные коленчатые удильца, блестящие и желтые, словно сработанные из полированной кости. Что-то свинчивали и цепляли, забрасывали в темную воду за паранетом. И помню их еще с давних пор, когда Питер был вымощен квадратными известняковыми плитами с круглыми водосливами у водосточных труб, когда по булыжным мостовым бегали "эмки", "победы" и полуторатонки, а также пахучий грузовый транспорт, когда заводы, распугивая рыбу, призывали трудяг грустно-высокими, почти мистическими, гудками. Помню, как их прорезиненные мешки для рыбы сменились полиэтиленовыми, а потом, почему-то кофевыми, новую бедность которых только подчеркивал наведенный силуэт какого-нибудь сопотского певца. Помню их неторопливые движения,

лица, застывшие в некоей исполненной важной думы, прострации. За день, потраченный на дурацкое торчание у парапета, они могли наработать на уйму рыбы, но они, почему-то, отсюда не уходили. Но что же они надеялись? Поймать лосося в глубине мутной Мойки? Или избыть среди ловли пропажу прошлых надежд?

А, все едино. Надо искать местечко потише. Исполнение моего замысла требует большого уединения. Я же не какой-нибудь пошлый истерик, бравирующий собственной решимостью в тайной надежде на спасение! Дорогу осилит идущий, как говорили в начале шестидесятых годов. Не трусь, мужичина! С этими словами я вышел на набережную Мойки и тронулся вдоль нее, что-то мурлыча себе под нос, ибо Димино вино все-таки действовало.

Я шел, а надо мной голубело немислимое пространство. С трудом сдерживал я желание поднять голову и плюнуть в самые яркие и подлые участки неба. Ибо радость исходило оно, все же, совсем неуместно.

Особенно это желание усилилось, когда я, подняв воротник, боком проскальзывал мимо огромных кристаллов воздуха на Дворцовой. Ангел с колонны погрозил мне ясным крестом. — Тубо тебе! — хотелось мне крикнуть ему в ответ. Но я испугался такой невыгодной для меня конфронтации, и поспешил шмыгнуть дальше, туда, где было грязней и немножго тише. Только что нетая песенка замерла у меня на губах. Как же дошли мы до жизни такой? — горестно думал я. Кто виноват?

— Ты! — ответило мне воспоминание. — Ты, и больше никто. Почему ты отказался оформлять планетария в День астронома? Работа интересная и небезвыгодная. И матушку бы утешил...

— Нет никакого Дня астронома! — горестно молвил я. — Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Да и не люблю я звезд... День гастронома — вот это — другое дело.

— То-то и оно-то, — ехидно ответил я сам себе. — Что до гастронома, так здесь ты первый!

— И потом, — отвечал я, не слушая, — наш семейный конфликт носил чисто духовный характер. Не надо мешать сюда грубую прозу.

— Ну-ну, — примирительно отвечал мне внутренний голос. — Бледи ты такой бедолага, думай, как хочешь. Зачем же тогда задаешь риторические вопросы?

Полиня внутренних прений, я брел, не замечая окружающего. Незаметно дошел я до Невского и пересек его, чуть не попав под блестящую импортную машину, что впрочем, не нарушило моих тягостных размышлений. Долго тянулся этот ненужный и бессмысленный диалог, пока я не обнаружил себя в закусочной, там же, на углу Невского, стоящим в очереди за котлетами без гарнира, которыми здесь торговали. Когда-то, работая неподалеку, я часенюшко сюда заглядывал, так что и сейчас, повидавшему, забрел чисто автоматически. Я порылся в кармане и надунал там горстку мелочи. Ну что ж, совершить задуманное можно, в конце концов, и на сытый желудок!

Примостив тарелку с котлетами на мраморный столик у окна, я машинальноковырял их плоской алюминиевой вилкой, у которой недоставало одного из средних зубцов. Вспомнила последний — непухлый и горький разговор с матушкой, уехавшей надолго и далеко. Вспомнила и Зину — глупую девочку, сарафанная мудрость которой спасовала перед моим сомнительным статусом непризнанного деятеля искусств. Постепенно я ощутил на своем лице чей-то твердый и неодобрительный взгляд. Поднял глаза и уставился прямо в лицо хангы с подбитым глазом, который, напротив крутые небритые скулы, глядел на меня неотрывно и мужественно.

— Ну что, пить будем, или вола вертеть? — спросил он меня вызывающе.

— Простите? — не понял я.

— Пьем или весла сушим?

— Ну, вы как знаете, а я-то тут причем?

— Слушай, кент! — сказал мне ханга. — Ты из себя интеля не строй. Погляди в зеркало — у тебя же

бодун третьей степени! Балко смотреть на тебя. Да ты не мудри, я не собираюсь тебя колоть. Видишь пузырь? У Машки взял, в Генегаде! Давай по стакану! А ты со мной котлетой поделишься...

- Хорошо... - сказал я с сомнением. - Только учти - и на мели!

- Знаю, вант, не утомляй. Заметано.

Он разлил по стаканам какую-то гуталинного цвета жидкость, и я, чокнувшись с неожиданным собутельником, и преодолев отвращение, выпил. На вкус оказалось - молдавский "розовый". Не сразу улегся он на дне моего желудка. Поерзал, поездил, как хоккейный вратарь перед матчем, и замер в исходной позиции. Вскоре легкий приятный хмель окутал мою забубенную голову.

- Ну, спасибо, опохмелел! - ласково сказал я своему неожиданному знакомцу. - Как тебя звать?

- Кеша! - он протанул твердую мозолистую ладонь.

- И меня почти так же. Только Никеша. Честно, не вру.

- Да я вижу, ты не из таких. Художник?

- Да около этого. А как ты догадался? Вроде на мне ни бороды, ни берета...

- По взгляду. Взгляд у тебя острый, схватывающий. И в вашем брате кое-что понимаю...

- Разбираешься? - спросил я с иронией, разглядывая разноцветный фонарь под его глазом и какую-то ^и васаленную рабочую куртку. Он как бы не заметил иронии.

- С Аленьевым водку пил, пока тот не увистел, - сказал он. - С Рукниным, пока тот не накрылся...

Я опешил. Имена, им названные, были широко известны в художественных кругах.

- Как же это тебя угораздило? - спросил я.

- Приговорим бутылку и отчитавсы! - решил Кеша.

Мы допили портвейн. Старико - бутылка, которую мы распили с моим другом Димой, совсем не опьянила меня, а только возбодрила. Эта - подействовала. И, как всегда, от портвейна, одновременно живительно и туманяще...

- Кто пьет портвейн розовый, тот лжёт в гроб березовый! - сказал Кеша. - Тайная мудрость олевсинскихkreгов! Поидем покурим?

Я глядел на него со все возрастающим удивлением. Да, не простой это был ханьга, не ординарный.

Мы вышли на набережную Монки. шумели юными красками древние узловатые тополя, припекало солнышко, странные студентки текстильного института спешили мимо нас, забросив за спину сумки на ремешках, упоенно вдыхая запахи свежих листьев, нагретой воды и тины. Издалека, с Петроградской, донесся пушечный выстрел - значит, - уже полдень.

Мы прошлепали дальше вниз по течению. Некая укрытый отштукатуренным желтым забором с полукруглыми нишами, угнездившийся в тишине набережной, садик, усаженный чахлыми кустами акации, привлёк наше внимание. Здесь стояло штук пять скамеек, и мы, выбрав ту, что была на солнечной стороне, присели и закурили.

- Значит так, - сказал Кеша, - сам я родом из Ам-

ова, с улицы, извините, Урицкого. Бывать не приходилось?

- Да вроде бы нет.

- Ну так вот. Места там тихие, слободские. То есть сама-то улица шумная, но чуть свернешь - деревянные домики с галерейками, сады, тишина. Сейчас, говорят, это все разломали... Проторчал я в том вишневом ряду до самой до срочной службы. Валялся на гитаре помаленьку, винтил какие-то гайки на "Арсенале". Призывали меня в летные войска, а как срок обучения вышел, послали в Египет, на оказание дружеской помощи. Часть наша стояла в пустыне. Первое, что я увидел, когда спрыгнул с грузовика - лежит египтянин в солдатской форме, прямо среди белой пыли, и тяжело дышит. В него какой-то дурак-новобранец, феллах необстрелянный, случайно из винтовки пальнул. Снял я скатку, подложил ему под голову, водой из фляги лицо омочил... Тот, чья винтовка выстрелила, молотовосос, сидит на корточках, качается из стороны в сторону, что-то поет зауныв-

ное. Наши из кузова выскочили, окружили, смотрят со страхом и интересом. Война, мать ее....

Тут подскочил щеголеватый такой арабский офицер, стрелявшего-по затылку, пилотку сбил, что-то старшему нашему буркнул и на меня набросился. Где, говорит, воинский дисциплину, аллах акбар, не суйся, мол, не в свое дело! А я над убитым присел, значит, братскую помощь оказываю. Тут старшой, Красногуб, командует: "Стройсь!" - ну и мы в наварму почпали. Скатку я забирать из-под застреленного не стал. Мне из-за нее старшой всю душу вымотал, где, говорит, твоя полная солдатская выкладка?

Ну вот. Отсидел я свое на губе за скатку, и, думаю, тем дело и кончилось. Видел еще того офицера, он при нашем штабе переводчиком работал. Поглядывал он на меня как-то пристально, непонятно, и думал - элится. И пошло как положено - у лейтенантов - вылеты, у нас, на земле, хлопоты и ремонты. Жара, пыль, вода, как моча ослиная, со-

дона...

Однажды объявили у нас смичку и дружеское братанье. Ну, то есть совместный концерт художественной самодеятельности и дружеский чай с египтянами. В тот день была у них какая-то годовщина. На концерт я опоздал, завожился в кантерие, а когда пришел, тесно уже. Присел где-то в сторонке, смотрю, как ихний повар, толстак, танец живота изображает, а солдаты, что наши, что ихние, режут, как хребцы. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь — блеснит глазами из полутьмы тот самый штабной египтянин.

— Друг, — говорит, — идем в пески, два слова сказать.

Ну, малость и засомневался, все же страна чужая — что у него на уме? Да и состав если хватит — по голове меня не погладат. Друзья друзьями, а без присмотра контактировать не очень поощрялось, тем более с офицером. Огляделся — все, как и раньше, на повара глаза лупят. Ладно, думаю, ничего

отрадного. Я потопал в пустыню за египтянином.

Отошли мы на приличное расстояние, присели на корточки, по ихнему обычаю: от ветра и лишних взглядов скрыл нас невысокий бархан, да и тьма стояла - крошечная.

- Меня имя - Али! - говорит египтянин.

- А меня Кешей кличут! - я ему отвечаю.

- Кеша, - говорит мне египетский офицер, - ты хороший - жалел человека. Я хочу тебя угостить. - И достает из кармана флягу. - Выпей, друг, твой эдоровье!

Ну, я отказываться не стал. Глотнул пару раз, оказалось - ром. Отпил немного - для приличия. Протянул фляжку Али.

- Дерни и ты, за знакомство! - говорю.

Тот фляжки не принимает. - Нет, - говорит, - не общдсь, но я не пью. А сам - продолжай, не стесняйся!

Я, конечно, продолжил. Разговорились. И здорово мне этот парень понравился. Хотя и в чинах офи-

царских, и образованный, но дерзится, как равный с равным. И не подстраивается, никакой, знаешь, в нем задней мысли. Поделился я с ним, какие мои планы на дальнейшее гражданское будущее. Про детство рассказал на улице, сам понимаешь, Урицкого. А он мне — кое-что о себе. А потом замолчали.

Молчим, а над нами тихое небо, полное звезд. Тишина оглашенная, только верблюдам колодца тихо шуршит от ветра. Тут-то и поведал он мне полупотом, что здесь в этих краях, есть один таинственный город. Основал его египтянин по имени Зу-и-нун аль Миери. Ничего себе имячко? Ну так вот. Мало кто этого города достигает. Но живут там люди счастливые...

— Сам-то ты бывал там, Али?— спрашиваю.

— Бывать не бывал,— отвечает,— а видел... верхушки его минаретов. Туда понасть не так-то легко. Но ты имеешь шанс, я это понял, когда увидел тебя. Правда... захочешь ли ты туда?

— А что?— спрашиваю.

- Да ничего, - говорит, - "Если кому-то случайно удастся попасть в город тайн, за ним захлопнутся двери, и он уже не вернется туда, откуда пришел..." Это сказал Саади. Слышал о нем?

- Слышал! - говорю. - Ну да я паренек не робкий. Только туда, наверное, немусульман не пускают?

Али засмеялся. - Плохо знаешь! - говорит. - Все веры - лучи одного солнца, имя которому - аль Хакк, Истинный...

- Ишь, завернул, - сказал я лениво, бросив докуренную папиросу.

Кеша внимательно посмотрел на меня, выдержал паузу, и, ничего не ответив, продолжил.

- Ну, я, конечно, понял, куда он гнет, и что город тот на карте не обозначен. Однако, чем-то меня этот разговор зацепил. Долго я раздумывал о нашей беседе тем вечером, распивая с арабами дружеский чай под ночным звездным небом...

Выделись мы еще несколько раз, беседовали. Частота - оперативная обстановка не позволяла. Потом

его перевели куда-то, кажется, в Асуан. На прощанье, он мне говорит: — Вернешься на родину — поезжай в Ленинград. Там я учился в академии тыла и транспорта. Остались в том городе у меня, — говорит, — кореша, они тебе дальнейшее растолкуют. Вот телефон, будешь в Питере — позвони...

Вот так я и оказался в этих местах. После армии приехал, поступил на философский, вне конкурса, как демобилизованный. Только через полгода меня вычистили за субъективный идеализм. Но это меня уже не затронуло. Много я к тому времени понял, кое-чему научился. Зажил правильной жизнью. Тогда и с Аленьевым познакомился...

— Где ж ты прописан? — спросил я у Кеша.

— А нигде. Ночую теперь по ученикам, а есть за-кочется, или выжить, иду в продуктовый, таскаю щипки. Ну, мне там кинут за работу бутылку красного да полкило ливерной, и порядок. В общем, живу — не скучаю. Есть с кем словцом переброситься. Много на свете дун, стосковавшихся по любви. Глав-

ное, сам понимаешь, в этом... Вся суть учения...

Тут меня осенило. — Так ты, стало быть, и есть — "Одетый в грубую власницу"? Я ж о тебе краем уха чего-то слышал!

Он усмехнулся. — Так меня поцарям называют, желторотая молодежь. Любит сказать поторжественней. А я в пророки не лезу. Просто, однажды видел, как огонь любви сжигает налётовшего мотылька...

— Потому и меня опохмелил?

— День для тебя сегодня небезопасный. Ну, мне пора. Будь на страже.

Мы ласково попрощались и он ушел.

Я остался сидеть на скамейке, не без приятности ощущая, как теплый хмель гуляет в моих жилах. Я думал: в чем секрет этих встреч, случайных, но истинно ценных? Почему мое одинокое путешествие прерывается? То друга вности встретил я, бедный Порик, то хорошего человека с подбитым глазом... И ведь не искал утешения, но лишь забвения своей никудашной жизни. Но случай не хочет оставлять

меня одного. Есть в этом некое, непонятное мной, навидание, некий скрытый, пока что, внутренний смысл... Впрочем, зачем это мне, человеку решившемуся?

Солнце, меж тем, придержала легкая белесая дымка наступившего дня. Мягкие лучи его, пробиваясь сквозь нечастую листву одинокого тополя, с такою ласкою осыпали мое раскрасневшееся от хмели лицо, что я и не заметил, как задремал. Голова моя запрокинулась, ноги вытянулись. Натягивсь на меня участковый, или просто не в меру ретивый общественник, русло нашего повествования дало бы резкий изгиб в сторону вырезвителя. Но этого несчастья со мной не произошло, ибо, как я подозреваю, вещий сон, который меня посетил, сделал меня как бы невидимым для недоброго глаза. Сон был таков: сначала пошли как бы титры, но странные, в виде то меандра, то каких-то еще знаменитых древних узоров, вроде стилизованных морских волн с закрученными гребнями. Потом выплыли ярче и круп-

ные буквы названия:

П У Р П У Р Н Ы Е К А М Н И

...ТРИ ЖЕНЩИНЫ В ХОЛЕВЫХ ХИТОНАХ. ВСЯК, ЖИВУЩИЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ПРИПОМНИТ ТЯЖЕЛЫЕ СКЛАДКИ ИХ ОДЕЯНИЙ. ИВО СРОДНЫ ОНИ ИЗВИЛИНАМ НАШЕГО МОЗГА, ПРАОТЕЧЕСКИ ИХ ВОСПРОИЗВОДИТ. В БЕЗДОННОМ НЕБЕ — НИ ОБЛАЧКА, НИ ВЕТЕРКА — ВЕКАМИ. ЛИШЬ КЛУВИТСЯ У НОГ МАТОВАЯ КУДЕЛЬ, БЕСЦВЕТНЫЙ, БЕЗВУДНЫЙ ХАОС — ИЛИ ТО ОБЛАКА ГОРНОГО УЩЕЛЫЯ ПРИДВИНУЛИСЬ К ИХ СТОПАМ? ИЗРЕДКА НАКЛОНИТСЯ ПРЯХА, ПРИКОСНЕТСЯ К ПРОЗРАЧНОЙ НИТОЧКЕ ВЛЕДНЫМ РТОМ — И ВОТ, ЗАМЕНИЛАСЬ ПЕРЕКУВЕННАЯ НИТОЧКА ВНИЗ, В КЛУВЛЯЩИЙСЯ МАТОВЫЙ ПРОИЗВОЛ. И ШЕРШАВЫЕ, НАГРЕТЫЕ СОЛНЦЕМ КАМНИ, ЗА КОТОРЫЕ НОРОВИТ ОНА ЗАЦЕПИТЬСЯ, НЕ УДЕРЖАТ ЕЕ НИКОГДА. МОНОТОННУЮ ПЕСНЮ СПОВТ ЕЯ ВО СЛЕД ГЛИНЯНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВЕРЕТЕНА.

НО И ПРЕКРАСНА ЭТА КАРТИНА. ВЗГЛЯНИ: ЯСНОЕ НЕБО, БЕЛОЕ СОЛНЦЕ, ПУРПУРНЫЕ КАМНИ ОВРОВА. ТРИ ВЕЧНЫХ ЖЕНЩИНЫ, ОБЛАЧЕННЫЕ В СКЛАДЧАТУЮ ОДЕЖДУ, И КАЖДЫЙ ИХ ЖЕСТ — СОВЕРШЕНЕН.

- Ам-км, - размышлял я, тут же проснувшись. -
 Стало быть, я не властен в своей судьбе, а решают
 ее некие высшие, так сказать, силы? А как же с
 учением о свободе воли интеллигентного человека?
 Нет, шалишь! Меня на красивом сне не объедешь!
 Сколько мук, унижения и бедности принесла мне моя
 высокохудожественная честность, сколько злого,
 безнадежного и порочного угнездилось в бытии, не
 видящем реального, самого, пусть, затрапезного
 выхода, что меня и вещи мои уже не зацепят! Да
 и кому я нужен теперь, лишенец и утомленец? Разве
 что Зине? Зина! Зачем же ты обличила меня при
 помощи надкушенного бутерброда? Твой нетерпеливый
 и глупенький жест, может быть, и переполнил чашу
 страданий. Горюй потом, вспоминая отчаявшегося
 Пипешу! А он будет себе лежать на заляпанном ма-
 лутом песке, одинокий и отрешенный, и ничто уже
 не пошевелится ни в его холодной груди, ни в ши-
 ринке!

С трудом оторвался я от звонки грустных мыслей.

Оглядевшись, увидел, что остальные скамейки тоже теперь не пустуют — по-двое, по-трое занимает их какой-то нестро одетая молодежь. Все явно были друг с другом знакомы, переходили от скамейки к скамейке, перебрасывались двумя-тремя ленивыми фразами. Держали в руках недлинные круглые палочки, или трубочки, толком я не разглядел. Изредка они подносили эти штучки к глазам и подолгу всматривались в бледное небо. Вероятно протативали их друг другу, и снова смотрели. На меня не обратили они равно никакого внимания.

Легкая послесонная слабость еще не отпустила меня; я не спешил уходить отсюда. Сидел развалившись, по-прежнему вытянув ноги, в расстегнутом плаще, лениво созерцал происходящее.

— О, пополнение! — подумал я, глядя, как в садик проходят двое милых молодых людей. Обняв друг друга за талию, старательно повиливая бедрами, они прошлепали к моей скамейке и плюхнулись рядом.

— Мульти! — сказал один другому, что был потем-

ной волосами, — ты что это там сосешь, сосуночек?
 Никак леденец? Дай и мне, солнышко!

— Ишь, какой! — ответил Мультя капризно. — Самому сладко! Не дам!

Беловолосый надул полные губы: — Ну и не надо!
 Противный!

— Шучу, шучу, глупенький! — пронурыкала Мультя.
 И тут они проделали штуку, от которой меня изрядно-таки покорибило: Мультя поднес свои губы к полным губам другого и языком протолкнул ему в рот что-то твердое, видимо, упомянутый леденец. Оба покосились на меня с важностью во взоре.

— Леда! — подумал я, собравшись уйти, но тут ко мне подседа девица в колетниковых брочках, не слишком причесанная, с жестяными очками на горбатом носу. Она решительно протянула мне руку.

— Вастинда! — представилась девушка. — Ты что, тоже из этих... из голубых?

— Каких еще голубых? — пробурчала я довольно-таки неприветливо.

— Нет, значит? Что ж ты тут с ними рассужива-

ешься? Гони! — И после значительно выдержанной паузы она повернула голову к соседствующей парочке.

— А ну, Пульта с Мультей, педа... Гоги несчастные, семените отсюда! Вон скамейка в тени! Живо!

— Ты вредная! — сказал Мульта.

— Ты у нас слишком ласковый! Ну, кому сказано!

К моему удивлению, эти безмолвно ей повиновились. С видом обиженным и несчастным, но без тени возмущения, они удалились в другой угол сквера. Настинда присела рядом.

— Ты мне так и не сказал, кликуха у тебя какая?

— Кликухи нет, а зовут — Никеша.

— Никеша? Попсовое имячко. На чем торчишь?

— Торчу? Кайф ловлю, значит?

— Кайфуют одни алкаши. Торч твой в чем заключается?

— Торч? Наверное, в искусстве... Художник я бывший.

— А я думал тебя привел кто-нибудь из наших...

— Кто ж это — наши?

- Мы? Мы хорошие. Ты на голубеньких не смотри, это приبلудные, жалко их, вот и торчим. А мы дети чистые - от мненья торчим!

- От мненья? Это как же?

- Проще простого. У меня флот рядом с Московским вокзалом, окнами на дрожку. Собираемся, садимся вокруг окна и сажем. Если долго глядеть, приход огромный! Как от самой крутой масти!

- Что ж это за дрожка такая?

- Дрожка? Ну, табло у Московского вокзала! Знаешь? "Смотрите на экранах"... Но это для тех, кто не врубается. Мы там разных надписей не читаем, мы на дрожки торчим...

- А здесь зачем собираетесь?

- Понимаешь, дрожка-то перекрыта. Сейчас белые ночи. Усск? Вот мы и скодимся в этом садике. А чтоб не скучали, раздаю я детям волшебные палочки... Чтоб о дрожке не забывали, на глупости не отвлекались. Некоторые так еще круче торчат!

- Послушай! А ты им книжки давать не пробовала? Ну, для начала, майора Пронина...

Она глянула на меня сквозь очки глубоко, неожиданно пронзительно. Потом глаза ее потускнели, стали пустыми и равнодушными.

- Пап-пап-пап, папа-пап, - сказала она. И прибавила лениво растягивая слова: - Листалово? Нет, нам по кайфу дроздалово...

- Ну-ну, так держаты! - хмыкнул я иронически.

- От самого, небось, за версту винищем шибает, а туда же, советы подавать! - парировала она неожиданно резко.

- Покажи палочку-то волшебную, - примирительно молвил я.

- Тоже поторчать захотелось?

- Да нет, интересно просто.

Это был обыкновенный детский калейдоскоп. Я повертел его перед глазом, с удовольствием глядя на разноцветные, праздничные перемены, там совершавшиеся.

- Ну как? Правится? - спросила Бастинда. - Ишь присосался, не оторвать!

Я отдал игрушку. - Да, пацанва, красиво живет...

Бастинда внезапно и резко толкнула меня в бок.

- Ты послушай,- сказала она доверительно.- Знаешь, что было? Тут вся эта хунта шабила, кололась, на колесах сидела! Такие были прихваты, что ой-ой-ой! А сейчас? Покупай глазелку за семьдесят пять копеек и наслаждайся! Дошло?

- А ты штука совсем не проста!- подумал я.- Везет мне сегодня на миссионеров...- Значит, клин клином?- спросил я, усмехаясь.

- Значит, что так!- сурово ответила она.- Хочешь, я тебя с кадриком познакомлю? Самца настоящий втынутый плановой. Он тебе порасскажет, что у него в чеху. Тогда и рассудишь, как лучше, так или вдале.

И, не дожидаясь, крикнула сидевшему в отдалении, испитому на вид мужчине:

- Эй, Стеба! Иди сюда!

Тот молча поднялся и понуро прилепился к нам. Выглядел он нездорово, одет бедно, сел рядом не повдоровавшись, глядя в землю.

- Как жизнь?- спросила Бастинда.

- Нормально, - равнодушно ответил он.

- Нолик еще не вышел?

- Нет, слава Богу. - Он усмехнулся чему-то горько и вызывающе.

- Расскажи, что у вас такое с ними случилось. Попет, я помогу, помирю вас, мы ведь с ними в поре...
ме...

- И мы не ссорились.

- Не ссорились, а сам невеселый ходишь. Ладно, давай рассказывай.

- Как хочешь, скрывать тут особо нечего. - Он поднял голову, и я увидел, что у него ослепительно голубые глаза. Поддержав меня с полминуты в их интенсивном и чистом сиянии, поерзав, усаживаясь поудобнее, он рассказывал:

- Они тут прозвали меня - Стебок. Стебок, чека-нуха, и пыльным мешком ударенный. Есть с чего стебануться...

Значит так: Верка влюбилась в Нолика. И до того она, дура, в него влюбилась, просто по-черному! Нолик живет один - у него комната в доме на

Владимирской, вход со двора. А что значит — вход со двора? Это значит, пока мимо мусорных баков, да по дощечке через канаву, да мимо тополяков с обломанными ветками, да по вонючей крутой лестнице доберешься, весь торч поломаешь. Однако, к нему ходили. Все же — своя комната, опять же — парень он добрый и компанейский, если, конечно, ему не перечить. Да попробуй, попри на него — Воже бабавы! Ну, все его этот недостаток знали и обходились с ним вежливо. А так — он кентуха что надо, последним поделится.

Вот за это Верка, видать, в него и влюбилась. Нагладелась, как он над Гендриком хлопотал, на припадке его вытягивал, холодное полотенце ко лбу прикладывал, и кранты. — Добрее Ножика, — говорит, — никого на свете нет. Это про Ножика-то! Ну баба!

И-то до них давно равнодушный, мне б покурить, или на худой конец, чайку крепенького — поломать, в потолок поглядеть, как бегут по нему облачка розовые, величальные облака...

Он немного помолчал, отставлялся, и продолжал

вадумчиво:

- А конотся я не люблю. Приход с того сильный, но возражаю, но как-то больница отдает это дело, шприц дрожит отвратительно... Ну вот. С того самого случая с Гендриком стала она ходить на Владимирскую. - У тебя, - говорит, - неприбрано, но-ничок, давай, хоть пол подмету... - Да брось ты, одна только пыль от этого! - А я, - отвечает, - водичкой побрызгаю, и ништяк.

Так и кружила она по комнате несколько дней, пока он терпенье не потерял.

- Знаешь, - говорит он, - кончай ты это кружение и мольтешию - наркота ведь народ ежидный, в кулачок прыскают. А если уж так тебе хочется, приходи ты ко мне пораньше, чтоб людей не смешить - и занимайся.

Я примечаю, она к нему ходит. В комнате стало чисто, на столе - салфеточка с вазочкой. Гендрик однажды, под планом, хотел в ту салфеточку высморкаться, да Нозик не дал.

- Не тронь,- говорит,- не тобой поставлено!
И так взглянул на Гендриха, что тот, хоть и
обкуренный, растерялся.

А в остальном все по-старому. Придет она позже
и вечеру, подмабит и на Ножика палится. Умора, ей
ногу. Ну, мне-то что, я человек безобидный...

Прошло пару месяцев. Однажды, когда народу соб-
ралась полная комната, Ножик встает из-за стола
и говорит: - Вот что, гаврики, Верка у нас курить
завязала. Она обращается к новой жизни, идет ра-
ботать на фабрику Ногина упаковщицей. Сами засе-
ните и другим передайте: если узнаю, что кто-то
на вас поделился с ней дурью - я из того черепаху
оделаю. Усекли?

- Усекли,- говорят,- Ножичек, не заводись. Нам-
то курить можно? Или сбегать на угол за мороженым?

- Цыц,- говорит Ножик.- Курите себе на здоровье,
да со мной поделитесь, а на нуле.

И все бы ничего было, кури не кури, кому какое
дело, если б не этот дурацкий случай.

Значит так; идем мы с Ножником и Веркой по Владимирскому проспекту, солнце не светит — пасмурно. Время еще не позднее, однако какой-то шкет лежит, загорает рядышком с урной — до бровей наливался.

— Постой, да ведь это Серега! — говорит Ножник. — И я его мать хорошо знаю, она в моей забегала, когда еще та живая была! Знаю, где он живет — на Стремянной. Давай-ка его оттащим до хаты.

Ну, давай. Только мы за шкета этого взялись — откуда ни возьмись — товарищ майор Половинкин на горизонте. — Вы куда? — спрашивает.

— Да мы вот знакомого до дому доставляем! — отвечает ему Ножник.

— До дому? Это вы-то до дому, проходимцы? Небось, разденете в ближней парадной? Знаю я вас.

— Зря обижаете, товарищ майор! — отвечает ему Ножник. — Что было, то уже прошло. Я его матку хорошо знаю. А он — пацан смирный — только зеленый еще.

И все б ничего, уговорили бы мы майора, да

вдруг ПМГ подваливает. Оперативные, сволочи, когда не надо. Выскакивают оттуда двое сержантов штампованных, и к майору, мол, в чем дело, да чего признайте.

- А вот тут пьяный в общественном месте, отвезите его куда следует! - говорит товарищ майор /овоих застеснялся, должно быть, принципиальность показывает/. - А то, - говорит, - непорядочек у нас получается!

Тут, как на грех, Верка высунулась. - Отпустите его с нами, пожалуйста, он в двух шагах проживает!

- Ну, ты-то молчи, такая и растакая и подзаборная! - грубо отвечает ей Половинкин. Видно, здорово им начальственный дух овладел.

Я гляжу - Ножик завелся. Только хотел шепнуть, мол, хладнокровнее, Ножик, сдержись! - а он возьми, да и врежь начальнику между глаз!

Тут его штампованные крутить стали крестьянскими своими ручищами, да в машину заталкивать. А в машине - третий на стреме, Ножика принимает. За-

толкали, и слышны оттуда глухие удары.

- Ну, ты, доходи́га, - говорит мне товарищ майор, потирая ушибленный лоб, - помоги алкаша погрузить!

Что делать, пришлось, плача от внутренней боли. И ведь не погнушался, скотина, майорские руки свои марать, лично пьяного в машину забрасывать. Да уж он такой, давно известная птичка!

Погладел на бледную Верку и говорит: - А ну, и ты полезай, шалава! В отделении разберемся!

- С удовольствием! - отвечает она вызывающе, и бледная нехорошая улыбка у ней на губах.

Меня они не забрали - места свободного, что ли, не оказалось. Стою я на Владимирском, чую: ноет мое сердце, томится, плачет по травке. А травки - ни косяка! Нечем избить мне свою тоску!

Весь вечер слонялся я по знакомым, просил у них дури. Ну, да плановые народ такой - есть у тебя - угощать лезут, а нет, так не выразишь - все и, отвечают, товар дорогой, дефицитный. Ну, взял я большую серебряную ложку, которую я берег -

мне ее подарили на счастье, когда родился, и спес ее на Кузнечный рынок, загнал какому-то азиатцу за три рубля. Хама мне без ложки заветной, думаю, ну, да уж все равно. Бегал-бегал, все же добыл косячок, несу домой, к сердцу прижимаю, вот, думаю, и лафа. И вдруг - Верну встречаю на перекрестке, только что отпустили.

- Ну, что Ножище?- спрашиваю.

- Дали,- отвечает,- пятнадцать суток. Падлы! - кричит и плачет прямо у меня на плече. Ну что с бабьем сделаемы!

Поутихла и мне говорит, а сама дрожит вся: миленький, говорит, голубчик и зайчика - курнуть у тебя не найдется?

- Да ты что,- отвечаю,- окстись, Ножище давать не велел!

- Прошу тебя,- говорит,- заклинаю во имя Бога живого - дай покурить!

И где она слов-то таких наслушалась...

Ну, и отдал я последний свой, с трудом добытый и радостный косячок. Сам же и заработал беломорину. Посадил в скверике на скамейку и сунул ей — на, кури. И таким вкусным и страшным дымом от нее вест, что стало мне, братцы, невозможно. Да ничего, перемогся — пошел домой и лег спать.

А они говорят — "стебон", "чекануха". Тебя теперь Ножики со света скивет, дай ему из отсидаки вернуться! Ты его слово знаешь!

Вот я и хожу невеселый, сутки считаю. Восемь суток он уже отсидел.

.....

Мы долго молчали. Потом Бастицца протянула ему картонную трубочку и сказала с выражением простой бабьей жалости: — На, поверти, авось приторчишься... И полегчает...

Тут рассказчика взорвало. — Да на кой он мне нужен, твой перископ! — злобно выкрикнул он. — Что я, вообще контуженный?

Она потерянно замолчала. Мы снова посидели,

друг друга как бы не замечая, думая каждый о своем. Наконец, в ней вернулась обычная самоуверенность.

- Ну, сделал выводы? - спросила меня Бастинда. - Врубаешься, что к чему?

- Мне трудно судить, у меня ведь свои разборки, не хуже ваших. Одно скажу тебе твердо - пить я сегодня бросаю, и навсегда. Так что ликом не поминайтесь.

Уходя, я оглянулся. На скамейках, патнистых от солнечного цвета, сидели развеселые юнцы и юницы. Они задирали головы к небу, глядя на него сквозь свои волшебные трубочки, и на их свежих лицах трепетали проникшие сквозь листву живые небесные блики. Только Бастинда сидела нахохлившись, невеселая, напряженно о чем-то думая...

Я вышел на Мойку. Темная вода ее была кое-где покрыта матовыми участками дневной пыли, между которыми стройно возносились изумительные фасады питерских зданий. Некое специфическое блистание,

свойственное пространствам города — днем и среди белой ночи — пронизывало окружающий оком. Гранитный парапет на той стороне реки был затенен и оттого чуть таинственен. Несколько подалее переходил он в глубокий тоннель Синего моста. Под мостом молотил мотор низкой барки, оттуда доносились какие-то невнятные крики. Мною овладело легкое беспокойство, и я испуганно понял, что свидетельствует оно о приближающемся похмельи. Но мне не суждено было сосредоточиться на этой трагической мысли. От высокого крыла с чугунными стоечками порскнул мне под ноги и, рассыпавшись, превратился в миниатюрную девушку, потирающую ушибленную коленку, пестрый комок. Я замер, до крайности удивленный. Довольно-таки странно зрелище представляло собой это юное существо. Голову его венчала допотопная шляпка из велюра с подколотой вуалеткой, которую украшали несколько выцветших иммортелей. Руки до локтей были затянuty желтоватыми лайковыми перчатками. На груди красовалась огромная бриллиан-

товая брошь в виде подковы. Довершали оденние высокие остроносые ботинки.

- Чем стоит-то, как увальнь, могли бы и помочь даме подняться! - Бросила незнакомка, стирая грязный след на щеке вместе с густым слоем румян. Другая щека так и оставалась нарумяненной.

- Истинно так, невините. Я несколько растерялся... Позвольте вас отряхнуть...

- Позволю. Только осторожней, здесь кружева... А я, между прочим, по вашей душе...

-?

Удивление моему не было предела. Я мог бы по-
пытаться, что вижу ее первый раз в жизни.

- Чем могу служить? - спросил я как можно мягче.

- Поднимитесь к нам, если не трудно. Я живу в четвертом этаже... Там я вам все объясню.

- С удовольствием!

Резная тяжелая дверь захлопнулась за нами, погрузив в прохладное, полутемное после яркого дня чрево парадной. Тянуло сыростью откуда-то из под-

вала. Тяжелые ленивые карнизы, голландская печь с оторванной дверцей, медные висячки перла — свидетельствовали о том, что некогда в этом доме жили люди богатые. Традиция эта, по-видимому, соблюдалась и поныне — прихожая в квартире у незнакомки была убрана весьма презентабельно.

— Можете снять свой плац! — небрежно бросила она. Тут и несколько приуныл и замешкался, ибо проведенная на замусоренном полу ночь, конечно, не украсила и без того нешикарной моей одежды. Плац я все-таки снял — иного выхода не было.

— Привела? — раздался из комнаты надтреснутый старческий голос.

— Да, дед, мы сейчас! — ласково отвечала внучка.

Мы вошли в комнату, где царствовала тяжелая ампириная мебель карельской березы. Светлые ее панели очерчивались вдруг грифоньими клювами; львиные разверстые пасти зияли из-под мраморных прессов консолей, орлиные лапы столов и кресел впились в паркет ценно и угрожающе. На одной из консолей, рядом со мной, стояли бронзовые часы, где Смерть

в складчатом тяжелом плаще, покрытом блестящей темной патиной, острила косу о мраморное точило. Я машинально покрутил его ручку. Тут же раздался прозрачный бой, и часы заиграли — тилинь-тилинь — какой-то волшебный и опасный мотив. Я онемел.

— Извините, — сказал я в пространство и увидел в углу за письменным столом огромного седовласого старика, глядевшего на меня из-за кустистых бровей строго и вопрошающе.

— Молодой человек, не отвлекайтесь! — с достоинством вымолвил старец. — Я имею задать вам один вопрос: почему мы все хорошо знаем, что Мольера зовут Жан-Батист, а имени Вольтера не помним? Или вы-то как раз помните?

— Ну, — мамлил я, напрягая последние ресурсы своей, весьма неглубокой, учености, — ну, помнит-ся, Дю Белле звали Иосифом, стало быть...

Старик тем временем что-то брестиком пометил в своих бумагах, лежащих кинор на столе, и, не дав мне закончить вконец измучившей меня фразы, бросил величественно: — Благодарю вас. Не смей за-

держивать. Остальное вам объяснит Мария Николаевна...

Несмотря на отчетливое пожелание старца, я остался стоять, как пришибленный. Дело в том, что мое внимание привлек, и неотрывно удерживал, старинный дагерротип в лакированной рамке, висевший над столом. В юной женщине, на нем запечатленной, я узнал... Зину! Она стояла на фоне садового боскета в белом кружевном платье, отставив ногу в остроносом блестящем ботинке, опираясь на длинный белый же зонт с костяной ручкой. У ног ее примостилась пушистая маленькая болонка. Глаза Зины были очень печальные; никогда я не видел у нее выше столь примиренного и вместе с тем безнадёжного выражения...

Старик заметил, что портрет меня заинтересовал. Вскочив к нему в его сторону, он промолвил неторопливо: — Моя первая жена Зинаида. Умерла в одна тысяча восемьсот сорок четырем, по двадцатьтому году... Вам она кого-то напоминает?

— И-нет, — ответил я неуверенно, а потом уже твердо: — нет-нет!

- Ну-с, тогда следуйте за Мари^{ей} Николаевной. Да, вот что, Мама, позаботься, что^{бы} молодого человека ублаготворить... Ну, ты меня понимаешь.

Последнюю фразу я считал довольно⁻таки бестактной, но пресмираться с главою семьи в его доме считал бестактностью еще большей и, не проронив ни слова, вышел вслед за Мари^{ей} Николаевной.

- Мой дед - доктор психологии! - прошептала она с горячностью. - Он выдающийся человек и, к тому же, рыцарь, да, рыцарь! Понимаете, что это значит?

- Несомненно! - сухо отрезал я.

- Сомневались! - не менее сухо от⁻вечала она.

Я уже готов был совсем разобид⁻ться и покинуть это странное обиталище, но мы уже оказались в темном коридоре, где, перегораживая его наполовину, стоял огромный платановый шкаф.

- Милый сэр! - сказала девушка ^грудным голосом, - помогите леди задвинуть шкаф в приличествующую ему нишу! Он не тяжелый, поверьте, там уже все разобрано!

Делать нечего. Я стал двигать в сторону низин это увесистое сооружение. Девушка мне помогала, или думала, что помогает, но больше льнула к моей спине острыми маленькими грудями, обдавая возбуждающим запахом молодого чистого тела, вперемишку с какой-то неисканной парфюмерией. Легкие касания ее рук казались кошь, вроде бы, и случайными, но целенаправленно-возбуждающими, так что, несмотря на их настораживающую судорожность, привели меня в довольно-таки элачное состояние духа. Когда с задвиганием шкафа было покончено, мы стояли друг против друга уже весьма разволнованные.

- Да, еще полки надо расставить! - неуверенно прошептала она. - Полезайте вовнутрь...

И как только я оказался в просторной глубине шкафа, дверца его вдруг затворилась изнутри, и меня облепили жадные и горячие члены молодого и страстного существа.

- Ланцелот, приди ко мне, Ланцелот... - шептала она со все возрастающим возбуждением. Не стану описывать подробностей моего пребывания в шкафу, ска-

ну только, что все в этой птахе показалось мне настолько родным и знакомым, что, когда дело подходило уже к моменту безоговорочного слияния, я невольно прошептал:

— Ийлаа... Зинаида...

Я даже помыслить не мог, что моя, в общем, конечно непростительная оговорка вызовет столь бурную реакцию. Я вдруг оказался решительным образом отринутым, маленькие острые кулачки били меня по плечам и голос, полный горечи и отчаяния, восклицал:

— Зинаида! Всегда Зинаида! Злой рок преследует меня!

— Помилуйте, Мария Николаевна! — воскликнул я в неумелой попытке хоть как-нибудь оправдаться, — вы меня неправильно поняли...

Но, увы, все было кончено. Она вытащила меня за руку на свет Божий, и уж не знаю, какая из ее щек была ярче: зарумяненная, или та, с которой румяна были недавно стерты, но которая горела от возмущения. Уж и не помню, как я вырвался из этой болез-

ненной, а бы сказал, ситуации. Обрел я себя бешено шагающим мимо величественного здания Горсовета. Рука моя машинально, но цепко сжимала горлышко портвейной бутылки. Я поглядел на этикетку. Так... Опять "розовый". Стало быть, в город завезли крупную партию... До чего же я докатился — соню уже расплачиваются натурой. Что ж, по Сенке и шапка!

— что за странная сегодня день! — размышлял я в раздражении. То какие-то вещи сны, то мистические канты, или вот, нате вам, сумасшедшие какие-то аристократы с довольно-таки сомнительными наклонностями... Ну зачем, почему случилась вся эта несбыданная нелепость? При чем здесь шкаф? И при чем здесь Зина? Или то, что я широко грешен и отчаянно сластолюбив, и без того мне неизвестно? Что за шутки? Поимать на улице... Заморочить вопросами... Соблазнить и отринуть! Морок, морок, все это морок! И я вдруг затосковал по своей оставленной, в лучшие годы добытой мастерской. Даже проплешивы отле-

павшейся штукатурки на наклонном потолке моей ии-
 лой мансарды, забранные крест-накрест, по-старин-
 ному, тонкой, побуревшей от времени дражкой;
 печные трубы за окном, пусть уж и не курящиеся
 давно остановленным дымом; трехногий топчан, под-
 держанный с одного угла в стопку сложенными кир-
 ницами, показались мне милыми и влекущими. Подой-
 дешь к мольберту, прицелишься, кинешь мазок на
 грунтованную холстину и стоишь, долго всматриваясь,
 машинально прислушиваясь к гуденью водосточных
 труб в коридоре. И такая на душе приподнятая ти-
 шина, не знаю, поймут ли меня, именно приподни-
 тая, именно тишина, беспорочная, творчая! И не
 нужно ни бормотухи, ни баб, ни заказов, чреватых
 крупной напустой, ни каких-нибудь там даров и от-
 личий — ни черта! Только Оно окружает тебя, Оно,
 лишенное свойств, но бездонно глубокое и единствен-
 ное сущее... Может вернуться к себе, в милую свою
 мастерскую и начать новую жизнь? Впрочем, куда де-
 вать портвейн "розовый"? Не выбрасывать же его,
 право слово, в то время, как сожнут губы и начи-

нает побаливать голова. Впереди, как будто, пивной ларек... Там и вдену.

Я подошел к ларьку, прикрившемуся прямо у парапета. Первые пиво расступились передо мною, пропуская в конец очереди, с уважением поглядывая на бутылку, отодвигавшую плац на груди и казавшую белое горлышко из-за пауки. Тем временем солнце, еще видимое из-за крыш и густых старинных тополей, которые вместе с рекой поворачивали куда-то, сбавило силу. В его свечении появилось что-то темное и тревожное. Было еще около четырех часов дня, но неуловимый перекося в сторону вечера уже состоялся. В торжественном и неизбежном, каком-то оцепенелом молчании ожидали первые своей очереди. Красные воспаленные лица, трясущиеся руки, глаза, застывшие в созерцании внутреннего опустошения, которое приносит человеку похмелье. Здесь были люди разных возрастов, по-разному одетые: служащие в костюмах и с портфелин, рабочие в робах, ханги в разнокалиберном поухлом тряпье. Обычных в подоб-

ном месте споров, смешков и словечек не было слышно. Лишь некто, уже сломленный опьянением, спавший прямо на земле, прислонившись к боковине изюска, бормотал что-то нечленораздельное, монотонное, иногда вскрикивая, что придавало всей обстановке оттенок некой забубенной, немисливой литургии.

У продавщицы пива я раздобылся мутным, захватанным граненым стаканом, вскрыл бутылку ключом, налил дополна и, преодолевая отвращение, выпил. Примостился между ларьком и перилами набережной, среди набросанных пробок, окурков и оторванных рыбьих голов, глядевших на меня своими подвигнутыми глазами слено, но осуждающе. Патна слудой и высокшей пены шелушились вокруг. Выбрав местечко почище, поставил бутылку на гранитную плиту набережной. К воде слетела  белая чайка, что-то подхватила с поверхности и, оставив за собой слабые расходящиеся круги, улетела.

- Говорят, птицы - это воплощение чьих-то умерших душ, - думалось мне. Может быть, эта чайка есть Александр Влок, реющий над своим оставленным домом?

Ведь он жил тут где-то неподалеку... Странная мысль. Кабы знать, что я сделаюсь хоть бы и чайкой, буду снова, гадя, в кильватере какого-нибудь туристского теплохода и однажды увижу на палубе очень счастливую, кем-нибудь крупным за плечо обнимаемую знайду, и на звонком своем языке крикну им: "Так держать!" Если б знать достоверно, что будет так! Как облегчило бы мне это знание предполагаемую процедуру! Ведь меня, по сути, ничто не удерживает, кроме распитой на треть бутылки. Умереть, не допив, это пошло. Алкогольная общественность, болтливая и злодливо-любопытная, как и всякая, впрочем, иная, узнав об этом, меня, безусловно, осудит. Так и чудится мне телефонный звонок от "А" к "Б".

- Слышали новость, глубокоуважаемый? Пикеша самбя утопил.

- Да ну, что вы говорите? Каковы подробности?

- Да вот оставил на паранете недопитую бутылку, а сам...

- Недопитую? Что ж это мог он не допить? Не

представляю. Ах, портвейн "розовый"? Молдавского производства? Ну, это, конечно, не ораванский коньяк, но чтоб не допить... Нет, извините, создавая всю горечь утраты, должен я вам сказать... Да-да, он всегда был немножко со странностями... Что вы говорите? Прекрасная мысль! Надо помянуть бедолагу. Что? Да, немного. Увы, с копейками рубль... Д-да, на углу... Нет, ей-богу, он меня удивил!..

Вот такой приблизительно разговор припомнился мне, когда я глядел на оставленные чайкой расходящиеся круги. С трудом оторвав взгляд от воды, я поднял бутылку и налил себе еще.

Второй стакан, будучи выпит, возымел эффект неожиданный. Когда я докурив сигарету, встать у кого-то на пьющих пиво соседей, и поднял голову, небо будто ножом полоснули: алые и бурные внутренности стали медленно вываливаться из его голубого брюха и оседать на печные трубы далеких крыш. Непонимая, словно прожекторные стволы, падали в разные направления зловещие солнечные лучи кровавой мас-

ти. Дым от автомашин, курившийся над Поцелуевым мостом, приобрел некий угрюмо-багровый оттенок. Я опустил голову. — Умба-мба! — сказал я себе. — ка-ца, ка-ца. Мостовая вдруг стала непослушной, нерытой, неровной. Поднял бутылку и, заткнув ее пробкой, огляделся воинственно — не хочет ли кто отнять. Никто, кроме вот этого... он ушел. И посмотрел на реку. Вода уже достаточно остудилась и стала студнем.

— Невкусно! — подумал я, и меня слегка затошнило. Я ушел от реки. Люди на улицах были угрюмые, полусонные. Иностранец снимал кино через щелку. Девушка, глядя в карманное зеркальце, назвала губы. Она шлоха. Они шлохи все до одной. В тени забора было холодно и полутемно, и чертовски неотвязно тополя булькали мелкой листвой. Тополя, тополя... песня. Кто-то хотел меня утопить. Ты, что ли, мастер? Да пусть мой карман, зря трудисься. Что, съел? Ну, то-то, знай наших! Надо бы еще вы...выпить. А? Бутылку уперли, падали. Ну и город, один вороги...

Теперь поворот направо... Куда это я? Что-то

холодно. Эк меня. Вррр. Значит так, где я и сколько времени. Долго я путешествую. Я же шел вдоль мойки. Вон она виднеется. Кажется, я был в отрубе. Надо же - автопилот сработал. Ушел же отсюда и снова здесь. Значит, так надо.

Меня знобило. Сильно тянуло по малой нужде. Я прошелея по набережной, наг подворотню потемнее. Забрел в какой-то угрюмый двор. Примостился между кирпичной стеной и высоким бетонным основанием стальной трубы, косые распорки которой делали ее похожей на баллистическую ракету. Когда я вышел оттуда, мне в глаза бросились высокие, сумеречно освещенные окна какого-то длинного одноэтажного строения. На дверях висела табличка с крупным, плакатным пером выведенной надписью. Я подошел ближе. Сознание вернулось ко мне почти полностью, так что надпись, которую я прочитал на дверях в полутьме раннего вечера, удивила меня:

УЧАСТОК "ПАЛЕРМО"

и чуть ниже помельче: /открыто по техническим причинам/.

Недоуменно рассматривая я обыкновенную казенную дверь с натеками серой масляной краски. — Открыто... — подумал я. — Значит можно войти? Тут же за дверью раздались голоса, она приотворилась, и ко мне, на булыжный двор, вышли какие-то двое, оживленно переговариваясь.

— Надо увеличить давление эвотеры, — сказал тот, что повыше, снимая с локтя нарукавники.

— Подкрутить шестиграннык?

— Ну ясно, что не пентакль! — ответил тот, что с нарукавниками, засовывая их в портфель, и расхохотался. Не переставая смеяться, он внимательно и отчужденно глядел на меня, и, рассмотрев его лицо, я заметил, что нос его, необыкновенно бугристый и толстый, переходящий в густые наклонные брови, сделан из папье-маше.

— А ты что стоишь, голубчик? — вдруг подлетел он ко мне.

— Видишь — открыто? Ну и ступай! — И он с неожиданной силой взял меня за руку повыше локтя и втолкнул в помещение. Дверь за мной затворилась; я ус-

лыкал, как щелкнул сработавший замок.

- О, да в нашем полку прибыло! - услышал я веселые голоса из глубины помещения. - Давай-давай, не стесняйся! Вольт, наливай! Страфияна ему!

Я растерянно огляделся. Помещение на первый взгляд представляло собой нутро обыкновенной газовой котельной. Правда, котлы, стоявшие вдоль стен, не работали, но запальники - стальные длинные трубки, в которые по гибким резиновым шлангам поступал газ, были укреплены наподобие факелов отверстиями вверх, и каждый из них венчался языком пламени. Таких языков было много, штук десять, их неровный прыгающий свет с трудом разгонял темноту. Нахло горелым газом, пролитым вином, человеческим потом. Синий табачный дым плавал под потолком.

- Да ты ползи сюда, не мешайся! - кричали мне из глубины помещения. - Здесь все свои, любя! В нашем учреждении сегодня сабантуй!

Я решил откликнуться на их зов. Преодолев небольшой лабиринт из чертених досок, поставленных

кое-как, вразнобой, я оказался у продолговатого бильярдного стола, на зеленом сукне которого в беспорядке валялись обломанные куски хлеба, колбасы, сыра, табачный пепел. Удивило меня то, что сыр был обгрызан как-то мелко: ровные полукруглые откусов были небольшие, не человечески.

- А, это ты, Никеша! - обратился ко мне восседавший как бы во главе стола, выросший до глаз густою черною бородой, совершенно незнакомый мне человек. - Наслышан, наслышан... А что, иди ко мне оформителем! Не обижу... А?

Я не нашолся, что ему отвечать.

- Да что это я, - сказал бородатый, - так сразу и подступаю. Вольф, сукин ты сын! Налей гостю!

Мне поднесли граненый стакан с темной жидкостью. Где-то совсем недавно я видел такие же зазубрины на венчике стакана. Я замирился и, сколько мог, вынул. Излишне, может быть, говорить о том, что питье было все то же - портвейн "розовый". Да, очень крупную партию этого товара прислали в наш

город из молдавских степей.

- Ну, как пошло? - спросил меня тин со старушечьим острым лицом, тот, кто мне наливал.

- Спасибо, нормально, - ответил я, преодолев легкую тошноту, и поинтересовался, по какому случаю праздник.

- О, да ничего особенного... Сороковины отмечаем... по нашему... Гм... знакомцу! - осклабился остролицый. - Кстати, ты его тоже, кажется, когда-то знавал... Его зовут Дима. Ну, художник-иллюстратор, Димитрий... Уж сорок дней, как представился...

- Что вы говорите? - весь так и вскинулся я. - Не может быть! Я ж его видел сегодня утром!

- Пить надо меньше! - раздался из-за спин чей-то тонкий и злобный фальцет. Я попытался взглядом разыскать наглеца, но за кругом голов и плечей ничего, кроме пляшущих неровных теней, не увидел.

Я обратился к чернобородому. - Скажите мне, это правда? - спросил я полным отчаянья голосом.

- Уви, мой друг, мухайся, но это факт! - ответил

начальник, мясистое лицо которого выразило в эту минуту чувство оскорбленного достоинства.

- На поминки попал! - с надевкой проверял все тот же тонкий и ненавидящий голос. Я не нашелся, что отвечать. Неожиданное горе по другу вности охватило меня с такой силой, что я уронил лицо на руки и разрыдался.

- Ну-ну, успоковса, не горва, бедный Корик! - опустил бородатый мне на спину свою тиселув длань, и я, содрагаясь, ощутил позвоночником его твердые и длинные ногти, - ничего, дело житейское... Покойному, попросту, незачем было жить... Ну, а мы, как видишь, его с удовольствием поминаем. Чем бы тебя отвлечь? Хочешь посмотреть машинное помещение? Это, так сказать, средоточие нашей деятельности... Вольф, проводи!

Вольф как-то нехорошо усмехнулся, отчего его острое лицо стало на миг еще безобразнее, и помянул меня за собой. Вытерев мокрые щeki, я отправился следом. Он провел меня в темный угол котель-

ной, к двери, над которой горела красная лампочка. Набрал нужны номер на замке с шифром и, толкнув дверь, ввел меня в машинное помещение. Сквозь мутное запяленное окошко я первым делом глянул на улицу, где синели негустые майские сумерки, и узнал бетонное основание той самой трубы со следами моего недавнего пребывания.

— Смотри! — сказал Вольф каким-то торжественно-страшным голосом. Я посмотрел прямо перед собой. Сквозь узкое жерло печи я увидел слепящее пламя вольтовой дуги, а когда пригляделся, заметил — там, между двух угольных электродов, вьется, шипит, пузырится и истончается в дым чахлый крысиный трупик. Дым втягивался в отверстие за электродами, которое, как я понял, ведет к трубе, только что мною виденной.

Полуослепленный на мгновение, я отвернул голову от печи и спросил в ужасе и отвращении: — Зачем это?

— Сирия "Мнази", — ответил Вольф лаконично, но

глаза его горели каким-то непонятным мне торжественным. — Участок "Палермо". Снабжаем весь город.

— Увидим обратно, — попросил я, отварачиваясь.

— Как хочешь, — ответил Вольф лаконично, — это не трудно.

Когда мы вернулись к пирующим, я каким-то шестым, так сказать, чувством отметил, что настроение за столом изменилось. Царило тягостное молчание. Бородатый глянул на меня строго и сумрачно. Он собственноручно налил стакан до краев и, поставив передо мной, коротко бросил: — Пей!

— Спасибо, мне, кажется, хватит...

— Пей, тебе говорят! Ишь, невеста...

— Ну, если вы настаиваете, — ответил я, машинально озираясь по сторонам, и отпил немного.

— Он слишком много знал! — раздался все тот же издевательский голос, и я, вскинув глаза в ту сторону, откуда он прозвучал, увидел пухлое безволосое личико, лишенное подбородка, глаза которого, встретившись с моими, изобразили комический ужас.

— Послушайте, что за наглость! — закричал я прямо в это мерзкое личико. — Кажется, всему есть предел! Я вас не знаю и знать не хочу!

— А ты кто такой, собственно, чтоб кричать на Валюничка? — угрозо спросил чернобородый.

— Как кто такой? — опешил я. — Вы ж меня знаете! Сами в оформители звали, оклад предлагали...

— Ну, оклада я тебе, положим, не обещал, — насупился чернобородый. — А интересует меня, что ты за тип, что за птица, чтобы каркать на моего штатного сотрудника?

— Что за птица? — ответил я, усмехаясь. — В чайки собрался... Да вы меня, борсь, не поймете...

— Ты, кажется, Юрик, того, в Гамлету метишь... — угрозо сказал бородастый.

— А хоть бы и так! — воскликнул я, возбуждаясь. На меня напало какое-то необъяснимое вдохновение. Весь этот чадный день, стужаясь, клубясь, наподобие пьяной тучи, разразился во мне ливнем ярких ре-
чений.

— Мечу! — воскликнул я. — Вся жизнь мечил! Вы,

люди слушающие, /кто-то бросил в след - вот именно!/, и не поймете меня совсем. А живет, бродит среди вас популяция неприкаянных душ! Страшные видом, сильны они духом и провидящим зрением! Пусть они кажутся вам, в лучшем случае, чужаками, в худшем - подозрительными отщепенцами. Это потому, что видят они вещи в их истинном свете, а не в искусственном и наведенном! Да, нелегко нам живется. Душе хочется распрямиться и взлететь, а ее загружают свинцовыми чурками разных запретов, угроз, обязательств! Сколько сил уходит на то, чтобы вытеснить из души этот сор и хоть ненадолго сосредоточиться! Как надрывается в этом ежеминутном борении весь душевный состав! Вот и бежишь в гастроном, покупать какой-нибудь гнусный "розовый", пьешь, чтоб забыться хоть на минуту!

- Или наприсяжься на чужие поминки! - злобно заметил тот, кого звали Балончиком, и его глаза, встретившись с моими, вновь изобразили комический ужас.

- Пусть так! Напросишься. Судя правда - пьем на халыву! Да что - пьем. Все мы - разного рода поэты, романтики и пропойцы, не то, что киршем - живем и то на халыву, за чей-то ненужный и тягостный счет. Примите, - каночим, - любезные, в нашу честную компанию. Так уж нам трезво, грустно и одиноко. И вы принимаете... чтоб надсмелиться или убить!

- Ну, это он, кажется, перегибнул, - пробубнил Вольф себе под нос. - Тут вам поминки, а не судебное заседание...

- Би, гадость какая! - воскликнул Валюччик, деловито распаковывая пакетик бритвенных лезвий. Он стал раздавать лезвия прямо в бумажках, обходя всех присутствующих, приговаривая:

- Это - тебе... это - тебе...

- Вот что, други! - сказал чернобородый, вставая и засучивая рукава. - Мы, кажется, ошиблись в этом субъекте. Думали, что он наш, а он... Одним словом, пора мочить, а??

И вдруг стул с треском отлетел у меня из-за опи-

ны, но потолка рванулись в мою сторону черные тени, я был схвачен десятком рук и опрокинут, так что лопатки мои воткнулись в твердый бетонный пол. Я тяжело дышал, силась вырваться. Тут, не выпуская меня, клубок разомкнулся, и я увидел, как торжественным алтэром, с бритвой в руке, во мне вышагивал гладколицый. Он подмигнул мне заговорщицки и кивнул чернобородому. Тот, своей сильной дланью схватив меня за подбородок, еще сильнее задрал его, и мое сердце затрещало вместе с огнями газовых факелов, вставших перед меркнущими глазами.

Чудовищным усилием вырвал я ноги из чьих-то лап, и пнул прямо в живот Валючичу. Тот отлетел с тонким писком. Вдруг входная дверь затрещала, по потолку побежали сполохи от внезапного сквозняка, и я почувствовал, что свободен.

- Атас, братва! Шухер! - крикнул чей-то высокий и сильный голос, точно петля пропел. Я вскочил на ноги. В помещение парами, ровно и монолитно, раздвигая путаницу чертежных досок, вливались черные

гибелями. Порекнули по углам черные тени недавних моих собутельников.

- Ваши документы! - сказал, пододвигая, их главный предводитель.

- Нет у меня никаких документов! - ответил я с сердцем, отряхиваясь и потирая ушибленные места.

- Что ж. Тогда пройдите.

Предводитель накинул на свою литую бронзовую голову непельного цвета капюшон, козырнул мне, и показал в сторону выхода. Я шел впереди, они вслед за мной. Выйдя из двери первым, я вдруг быстро захлопнул ее /целкнул сработавший замок/ и бросился наутек...

Преследуемый страхом, бежал я вдоль набережной Мойки, оглядая провалы перед подвальными окнами, но меня, как ни странно, никто не преследовал, как будто наваждение осталось там, за дверью котельной... Я пересек Поцелуев мост и пустился вдоль густых тополей дальше, мимо Новой Голландии. Наконец, я остановился и перевел дыхание. На фоне

бледного неба тускло горели фонари. Я обернул лицо к старым пеньковым складам, и острое восхищение проникло в мою душу. Поднося к моему разгоряченному лицу ломтик тающего пространства, поражаая редким совершенством пропорции, с которыми были укомплектованы сочетания темных тяжелых масс, ее составляющих, к моим глазам подступила вечная и прекрасная арка. Я долго глядел на нее в знак прощания, стараясь навсегда отпечатать в душе образ предельной и пламенной земной красоты. — Здесь! — думалось мне. Тут-то я с вами и попрощаюсь. И напоследок взглянул вдоль набережной. Навсегда запомнились мне ломтики сухого собачьего помета под фонарем, блестящие, как темный металл, толстые корявые кривы тополиных стволов. Я стал быстро срывать с себя ненужную большую одежду. Конечно! — думалось мне. Пусть это будет страшный, но и последний грех мой. И вдруг...

Из темном подворотни выбежала девочка лет тринадцати. Ее преследовали тучные мужчина и женщина, с трудом переваливавшиеся на своих толстых лапах.

- Ненавижу! - крикнула девочка. И, птицей взлетев на Гранитную Глыбу перил, бросилась в воду.

- Помогите! - крикнул мужчина неожиданно мелодическим тенором, подбегая к перилам и свешиваясь в сторону воды, но прыгнуть за ней не решаясь. Девочка, видимо, обо что-то там трахнулась под водой, потому что она долго не всплывала, а когда всплыла, то двигалась вяло и бессознательно, снова подленно погружаясь. Я бросился вслед за ней, но с таким расчетом, чтоб упасть в воду как можно дальше от берега, туда, где было поглубже. Вынырнул я благополучно, ощущая на своем лице и губах легкую аммиачную вонь. Кусок девочкиного платья еще колыбался над водой. Я поднялся к ней и обхватил рукой ее бесчувственное тонкое тело. Плыть обратно, загребая одной рукой, было очень трудно. Я держал к далекому спуску. Наконец, мы приблизились. Здесь, на спуске, собралась уже маленькая толпа. Впереди всех была толстая пара; мужчина и женщина что-то кричали, размахивая руками. Как только мы поднялись, девочку вырвали из моих рук, а меня, уже вторично

за вечер, схватили многочисленные цепкие пальцы:

— Ах ты дурочка! — слышал я чей-то толстый, плачущий голос.

— Меня-то пустите! — закричал я. — Я не хочу к вам обратно, будьте вы прокляты!

— Да помогите же, видите, человек не в себе! — вибрировал над моим ухом чей-то мощный убедительный бас.

— Да пошли вы все на ...! — крикнул я, отбиваясь.

Но тут силы оставили меня, и я стал тихо терять сознание. Последнее, что я увидел, были стройные гармонические массивы старинной арки, восходящие надо мною в светлеющем небе майской прекрасной ночи...

Впрочем, сознание иногда ко мне возвращалось. Меня куда-то несли, где-то вляли. Кто-то подходил ко мне и брал за руку. В голове работал какой-то булмер, так что речей я не различал. Единственная фраза, которую я слышал перед тем, как погрузиться в окончательное небытие, была произнесена де-

ловым, будничным тоном.

- Делириум тремор! - сказал мужчина одетый в белое. - Запишите, Марья Васильевна...

.....

Вот уже месяц, как я нахожусь в больнице. Я все-таки достиг устья Мойки - психушка, куда меня поместили, находится на пересечении ее с рекой Пряжкой, при самом впадении в расширяющуюся горловину Невы, которая здесь не Нева уже, собственно, а Финский залив, море... Нет, не подумайте, с головой у меня все в порядке - отделение наркологическое. Лечат меня принудительно от любви в алкогольным напиткам.

Чувствую я себя хорошо, спокойно так. Ну, да оно и понятно - ведь и лекарства там всякие, само собой, как сказать, ну то есть да, - успокаивающие душу...

Один раз только я поволновался - когда Зина перестала ко мне сюда приходить. Появилась она надомном, как только я оклемался, что было совсем не

сразу. Я ей обрадовался — она хорошая девушка, добрая, милая... да... А тут вдруг пропала и перестала совсем приходить. Я как-то томился, места себе не находил, что называется, даже, верите ли, плакал в подушку... А потом, по прошествии двух недель, приблизительно, снова она пришла. Оказалось, был у ней приступ женской какой-то болезни: врачи ей сказали, что она не сможет родить. И ее как мог успокаивал; ели мы вишни, принесенные ею с базара, сидя рядком на казенном моем шерстяном одеяле...

К Димитрий матери я звонил из больницы — он умер несколькими неделями ранее — попал, что ли, под машину по пьянке. Больше ничего ни о ком не слышал, да и немудрено — город большой, всякое может в нем затеряться...

Самое мое любимое сейчас занятие — глядеть из окна. Под окном растут больничные тополя; листья деревьев уже стали летними, — налились, потемнели, покрылись глянцем. Но и сквозь них видны какие-то пакгаузы, трубы, сараи, краны... И между ними —

маленький кусочек восходящего, горе отлетающего пространства - то белого, то голубого, поблескивающего, несмотря на свою малость, тысячью искр при дневном сильном солнце. Это - море. Глядеть на него для меня радость и мука, ибо чудится там, за далью, какая-то светлая неземная отчужденность... Как бы попасть туда, в этот счастливый край?

май-июль 1980 г.